

В. Ветловская

«АРИФМЕТИЧЕСКАЯ» ТЕОРИЯ РАСКОЛЬНИКОВА

*Крупному ученому-слависту
профессору Миливое Йовановичу —
посвящается*

Среди побудительных мотивов, толкнувших героя Достоевского на злодейство, главное место занимают, как известно, идейные соображения. «Тут дело фантастическое, мрачное, — говорит Порфирий Петрович, — дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитруется фраза, что кровь „освежает“; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце...» (6; 348). Действительно, без страстного желания как можно скорее добиться материального благополучия («комфорта»), без теорий, оправдывающих и это желание, и все (то есть любые и всякие) средства для его осуществления, Раскольников не решился бы на преступление. Ср. его разговор с Настасьей в начале романа:

«...а ты что, умник, лежишь как мешок, ничего от тебя не видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь почто ничего не делаешь?

— Я делаю... — нехотя и сурово проговорил Раскольников.

— Что делаешь?

— Работу...

— Каку работу?

— Думаю, — серьезно отвечал он помолчав. Настасья так и покати-лась со смеху <...>

— Денег-то много, что ль, надумал? — смогла она наконец выговорить.

— Без сапог нельзя детей учить <...> За детей медью платят. Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям.

— А тебе бы сразу весь капитал?

Он странно посмотрел на нее.

— Да, весь капитал, — твердо отвечал он помолчав» (6; 26–27). Из дальнейшего ясно, в каком направлении думал Раскольников, желая сразу получить «весь капитал». Сам того не сознавая, он приискивал

* Миливое Йованович, 70-летие которого отмечается в этом году, — широко известный югославский писатель и ученый-славист, автор многих статей и книг, посвященных русской литературе XIX–XX в. Среди них заслуженное признание получили его книги о Достоевском и русской литературе XX в. Профессору Миливое Йовановичу принадлежат также десятки работ, написанных по-русски и опубликованных в разных научных изданиях за пределами Югославии.

достаточно убедительное оправдание для весьма скорого и «мрачного» дела. Это то, о чем позднее в «Братьях Карамазовых» говорил Ивану черт: «Все это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...» (15; 84). На почве такой любви и возникает «казуистика» Раскольникова: «... весь анализ, в смысле нравственного разрешения вопроса, был уже им покончен: казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных возражений» (6, 58)¹.

Теории, чья логическая очевидность представляется безупречной, кажутся справедливыми, и эта—то их «справедливость» сбивает с толку ум и подавляет или искажает от природы чистый голос сердца. Между тем оно, будучи ничем не замутненным, не нуждается в особых доводах рассудка, чтобы в важные минуты жизни подсказать, где истина, а где ложь, красота или безобразие, нравственная правда или заблуждение. И даже тогда, когда ум под видом истины навязывает ложь, сердце до поры до времени способно ей сопротивляться. Ср. смятение Раскольникова после посещения старухи процентщицы с целью «пробы»: «Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это все более и более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем—то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул:

„О Боже! Как это все отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! — прибавил он решительно. — И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц...“

Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей» (6; 10). И далее: «Да что же это я! <...> ведь я знал же, что я этого не вынесу <...> Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел делать эту... *пробу*, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю <...> Нет, я не вытерплю, не вытерплю! Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика. Господи! Ведь я все же равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!.. Чего же, чего же и до сих пор...» (6; 50).

Раскольников продолжает думать на прежнюю тему «до сих пор» (и дальше, вплоть до самого «дела») и потому, что его воля, несмотря

¹ Комментируя фразу «казуистика его выточилась, как бритва», Б. Н. Тихомиров замечает: «Приведенные слова представляют собой перифраз 4-го стиха 51-го псалма: „Гибель вымышляет язык твой; как изошренная бритва, он у тебя, коварный!“» (Тихомиров Б. Н. Из наблюдений над романом «Преступление и наказание» // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1996. Т. 13. С. 244).

на мгновенные отступления, поработана силами дьявольских чар, и потому, что он не хочет всерьез прислушаться к предостерегающему голосу чувства. Вместо того чтобы довериться этому чувству, удерживающему от тяжкого греха, герой доверяет своему уму, разрешающему злодейство. Это предпочтении ума всему остальному вызывает позднее ехидную усмешку Порфирия: «... вы, батюшка, Родион Романович <...> человек еще молодой—с, так сказать, первой молодости, а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодежи. Игривая острога ума и отвлеченные доводы рассудка вас соблазняют—с. И это точь—в—точь, как прежний австрийский гофкригсрат, например, насколько то есть я могу судить о военных событиях: на бумаге—то они и Наполеона разбили и в полон взяли, и уж как там, у себя в кабинете, все остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь, генерал—то Мак и сдается со всей своей армией, хе—хе—хе!» (6; 263).

Упомянув Наполеона, Порфирий Петрович намекает на теорию Раскольникова о людях «обыкновенных» и «необыкновенных» и заодно, безжалостно унижая самолюбие противника, достаточно ясно дает понять, что к «необыкновенным» людям (к Наполеонам) недоучившийся студент юридического факультета уж никак не относится. Скорее, как раз Порфирий, несмотря ни на какой комизм его «фигуры», мог бы претендовать на лестную близость к «авторитету».

Теорию Раскольникова о двух разрядах людей («обыкновенных» и «необыкновенных»), изложенную героем в статье «О преступлении» (см.: 6; 198–204), мы обсуждать не будем². Остановимся на другой теории несостоявшегося юриста, которая в силу своей математической, арифметической очевидности «соблазняет» не только Раскольникова. Заметим кстати, что Порфирий Петрович, для пущей убедительности и пущей буффонады надевший на себя вдруг маску «старика», хотя и посмеивается над молодым человеком, увлеченным остроумием и «отвлеченными доводами рассудка», сам далеко не чужд такого рода «соблазнов»: «Вот вы изволите теперича говорить: улики <...> да ведь улики—то, батюшка, о двух концах, большею—то частью—с, а ведь я следователь, стало быть, слабый человек, каюсь: хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить, хотелось бы такую уличку достать, чтоб на дважды два — четыре походило! На прямое и бесспорное доказательство походило бы!» (6; 261). В поисках «бесспорного доказательства» и «математической» улики, «вроде дважды двух» (6; 262), Порфирий, разумеется, и собирался свести лицом к лицу Раскольникова и Миколку. Рассчитывая на «натуру» преступника (6; 263), болезненно раздражительную, нетерпеливую, высокомерную, но не лишенную благородства, следователь, судя по всему, приготовился «терзать и мучить»

² Анализ основных положений этой статьи и критику их в романе см.: *Ветловская В. Е.* Логическое опровержение противника в «Преступлении и наказании» Достоевского // *Достоевский. Материалы и исследования.* СПб., 1996. Т. 13. С. 74–87.

на его глазах «бедного Миколку», так, чтобы преступник из сострадания к одному и ненавистного презрения к другому в конце концов «себя выдал» (6; 273, 269). Но «действительность и натура», если воспользоваться словами самого Порфирия, и этот «самый прозорливейший расчет подсекают» (6; 263). Миколка, внезапно ворвавшийся в расчисленный ход событий и взявший на себя чужую вину, испортил Порфирию всю игру.

Уж если Порфирий Петрович при всем его ехидстве отдает дань остроумным расчетам и «дважды двум», то что говорить о прочих? В черновиках «Преступления и наказания» даже Дунечка, намереваясь для собственного блага, блага родных круто изменить свою жизнь и выйти замуж за Лужина, рассуждает об «арифметике»: «Но, ведь оставаясь в том положении, в котором я теперь нахожусь, я могу поневоле упасть еще ниже. Тут все на расчете. Это я по опыту говорю. Это арифметика. <...>

— А ты веришь в арифметику?

— Еще бы. И так я теперь в арифметику верю и действую по расчету (чего ты смеешься?).

— [Да, если бы мы были только цифры, — а то ведь мы люди... Пусть я в арифметику верю, а ты... не должна. Но все это вздор.]» (7; 252–253).

Скепсис Раскольников по поводу Дунечкиных слов («если бы мы были только цифры» и «все это вздор») объясняется горьким опытом, который герою пришлось изведать, в частности, из-за «математических» его расчетов. Но в свое время, до преступления, доводы от «арифметики» были для него вне критики, как, впрочем, и для других людей его возраста и круга.

Простейшие положения «арифметической» теории Раскольников случайно услышал в «плохоньком трактиришке» тогда, когда сходные мысли стали едва «наклеиваться» в его голове (6; 53). Незнакомый студент за соседним столиком говорил молодому офицеру о старухе процентщице (от которой герой только что вышел с двумя жалкими «билетиками» за золотое колечко, подаренное ему сестрой) и ее отношениях с Лизаветой. Эту Лизавету капризная и злая старуха, «такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка...» (Там же). «Я бы эту проклятую старуху, — заявляет студент, — убил и ограбил, и уверяю тебя, что без всякого зазору совести...» И далее: «Я сейчас, конечно, пошутил, но смотри: с одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, для чего живет, и которая завтра же сама собой умрет. Понимаешь? Понимаешь? <...> С другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги. <...> Сотни, тысячи, может быть,

существований, направленных на дорогу; десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц, — и все это на ее деньги. Убей ее и возьми ее деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить потом себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно, крошечное преступленище тысячами добрых дел? За одну жизнь — тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика! Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает...» (6; 54). Хотя студент, говоря об убийстве старухи, и «пошутил», в «справедливости» своей логики он не сомневается. На прямой вопрос офицера: «...убьешь ты *сам* старуху или нет?» — студент отвечает: «Разумеется, нет! Я для справедливости...» Раскольников весь этот разговор приводит в «чрезвычайное волнение»³. «Конечно, все это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им <...> молодые разговоры и мысли. Но почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговор и такие мысли, когда в собственной голове его только что зародились... *такие же точно мысли?* И почему именно сейчас, как только он вынес зародыш своей мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о старухе?..» (6; 55).

Ничего странного в этих совпадениях, однако, нет; в частности, потому, что черт, который давно уже замешался в вынашиваемые героем планы и расчеты, и здесь, разумеется, ему «подслуживался» (6; 53). Во имя арифметической «справедливости» (и прочих, не менее убедительных для него отвлеченных построений), но без всяких «шуток» Раскольников готов пойти (и в конце концов идет) на убийство и ограбление.

При первом же столкновении с действительностью обнаруживается несостоятельность предварительных расчетов. Помимо старухи, обдуманно приговоренной героем к закланию, он вынужден был поднять топор и на случайно подвернувшуюся Лизавету. Это происходит потому, что вопреки самоуверенным надеждам сохранить и волю, и рассудок Раскольников (как всякий неловкий и неопытный преступник) в момент совершения преступления утратил и то и другое настолько, что с «феноменальным легкомыслием», войдя к старухе, даже забыл закрыть за собою дверь (6; 58; ср.: 6; 66, 117). Между тем убийство Лизаветы сводит на нет «арифметику», ведь оно вообще не входило в расчет. Во всяком случае оно усложняет вычисления (поскольку люди действительно не только цифры и прежде всего не цифры), ибо вопрос теперь выглядит так: стоит ли жизнь раз и навсегда «бедной Лизаветы» (относительно

³ О связи этого разговора с речью Достоевского о Пушкине, «Братьями Карамзовыми» и мотивами романа Бальзака «Отец Горио» см.: *Гроссман Л.* Библиотека Достоевского. Одесса, 1919. С. 38–39. Кроме «Евгения Онегина», о котором рассуждает Достоевский в речи о Пушкине (тема счастья, воздвигаемого на несчастье другого), безусловно, следует назвать и «Бориса Годунова».

не «злой» и не «вредной») жизни таких же, как она, бедных людей в любом их числе? При этом немаловажно то обстоятельство, что будущее благополучие этих несчастных, ради которых допускается смертный грех, в высшей степени сомнительно (в истории Раскольникова такого благополучия нет; напротив, преступление усугубляет горе и увеличивает число несчастных), тогда как пролитая кровь и загубленная жизнь бедной жертвы — совершившийся факт, они несомненны. Ср. также признание Раскольникова Соне: «Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!..» (6; 322). В припадке покаянного самобичевания Раскольников сводит к единственному побуждению разнообразные мотивы, заставившие его пойти на преступление. Но, безусловно, это побуждение было одним из важнейших.

Точно так же, как Раскольников случайно убил Лизавету, он случайно на этом убийстве и остановился: обстоятельства грозили сложиться так, что он мог бы «лущить» (6; 373) людей и дальше — без особых арифметических или неарифметических теорий, из одного чувства самосохранения (см.: 6; 65, 68). Выходит, достаточно было вступить на гибельный путь, чтобы результат такого шага повел к неожиданным последствиям, находящимся за пределами заранее произведенных вычислений.

Заметим: какими бы теориями Раскольников ни обосновывал право на преступление, он не может его обосновать ссылкой на христианские религиозные нормы, безусловно запрещающие и грех убийства, и грех воровства, ибо сказано: «Не убий» и «Не укради» (Исх. 20: 13, 15; Втор. 5: 17, 19). Вот почему преступление Раскольникова (именно убийство) весьма напоминает языческое жертвоприношение. Так, у древних греков жертвенное животное (в ходе эволюции языческих верований повсеместно заместившее человека) убивали «различным образом, смотря по тому, каким божествам приносилась жертва; обыкновенно животное оглушали и повергали на землю ударом дубины или обуха, затем, если жертвоприношение совершалось в честь одного из небесных богов, голову животного загибали кверху и жертвенным ножом перерезывали его горло, а при жертвоприношении подземным богам голову пригибали к земле и удар ножа направляли в затылок»⁴. В «Преступлении и наказании» вместо ножа использован топор, но эта замена указана в тексте: «О том, что дело надо сделать топором, решено им (Раскольниковым. — В.В.) было уже давно. У него был еще складной садовый ножик; но на нож, и особенно на свои силы, он не надеялся, а потому и остановился на топоре окончательно» (6; 57). В момент убийства старуха, пытаясь

⁴ Латышев В.В. Очерк греческих древностей. Богослужебные и сценические древности // Античная библиотека. Исследования. СПб., 1997. С. 86.

развязать мудреный узел на «закладе», стоит, опустив голову вниз. Раскольников, расположившись за ее спиной, сначала оглушает, а потом убивает жертву ударами сзади: «Он вынул топор <...> и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом <...> Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать „заклад“. Тут он изо всей силы ударил раз и другой, все обухом и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь» (6; 63). Голова Лизаветы в момент убийства загнута вверх: «И до того эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо, хотя это был самый необходимо–естественный жест в эту минуту, потому что топор был прямо поднят над ее лицом <...> Удар пришелся прямо по черепу, острием, и сразу прорубил всю верхнюю часть лба, почти до темени. Она так и рухнула» (6; 65). В соответствии с отмеченной параллелью убитая старуха отправляется в преисподнюю. Ср. далее слова Коха: «Сама мне, ведьма, час назначила <...> Да и куда к черту ей шляться, не понимаю? Круглый год сидит ведьма, киснет <...> А тут вдруг и на гулянье!» (6; 67, 68). Но здесь все ясно: если «ведьма» пустилась «вдруг <...> на гулянье», то только «к черту» и с чертом. Что же касается бедной Лизаветы, то, будучи «чистой сердцем», она принадлежит высшим сферам. Ср. сказанное о ней Соней: «Она Бога узрит» (6; 249), а также слова Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное <...> Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф. 5: 3, 8)⁵.

В свете той же параллели, увязывающей убийство Раскольникова с языческим обрядом, все теоретические рассуждения героя, оправдывающие его преступление, низводятся на уровень языческих верований, то есть новейших суеверий самого мрачного толка: они возвращают кровавый ритуал, отброшенный христианской цивилизацией в далекое прошлое. Связь древних верований и новейших суеверий, которую Раскольников не сознает, здесь тем более замечательна, что герой, идя на злодейство, серьезно думает о «новом шаге» и «новом собственном слове» (6; 6 и др.). Между тем эта связь, казалось бы, очевидна, она возникает из существа дела, даже независимо от каких бы то ни было конкретных аналогий. Ведь сознательно нарушая Божьи заповеди и своевольно присваивая роль как верховного судьи, владеющего правом жизни и смерти ему подвластных, так и исполнителя приговора, Раскольников замещает и Господа Бога (ср. характерные в этом плане иронические слова Порфирия Раскольникову в последнее их свидание: «Ваша воля да будет». — 6; 353), и его служителя (ср. обращение «батюшка», настойчиво повторяемое по отношению к герою сначала старухой процентщицей,

⁵ Ср.: Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Комментарий. Л., 1979. С. 180.

а затем, с обычной иронической издевкой, — Порфирием. — 6; 8–10, 62, 257 и след.) Герой уподобляется языческому идолу и одновременно — жрецу, готовому ради величия обожествленного кумира (то есть «для себя») приносить человеческие жертвы.

Но «действительность», как и следовало ожидать, сбрасывает ложного идола с пьедестала: ведь все непомерно раздувшееся тщеславие недоучившегося студента, все его теории и расчеты — лишь дьявольское наваждение и только. Ср. опущения Раскольникова в минуту душевного просветления, когда он было отказался от преступного замысла: «„Господи! — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!“ <...> Несмотря на слабость свою, он даже не ощущал в себе усталости. Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» (6; 50)⁶. И далее признания Соне: «Я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил (на преступление. — *В.В.*), а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить <...> Насмеялся он надо мной...» И еще: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я...» (6; 322). Но если черт и убил «старушонку», то сделал это вместе с Раскольниковым, и если Раскольников убил себя, то сделал это вместе с чертом. В любом случае, вложив в руки героя топор и заставив пустить его в «дело», нечистый и впрямь над героем насмеялся. Вмешавшись в «арифметику» и спутав все расчеты, черт не только связал злую старуху с доброй и кроткой Лизаветой так тесно, что гибель той и другой явилась и отдельным и в то же время одним убийством⁷, но для начала к двум тяжко пострадавшим душам неожиданно прибавил третью, сделав из самозванного вершителя человеческих судеб жалкого раба собственного злодейства. Ср. слова Раскольникова до преступления: «Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать! Не принимаю! <...> Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? <...> От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Ивановича Вахрушина чем ты их (сестру и мать. — *В.В.*) убережешь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий!» (6; 38). И затем слова Сони: «Что вы, что вы это над собой сделали! — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею,

⁶ Молитва Раскольникова: «Господи! <...> покажи мне путь мой...» повторяет слова псалма. Ср.: «Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою» (Псалт. 142: 8). Просьба Раскольникова предполагает ответ, о котором герой пока не помышляет и который заключен в словах Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоан. 14: 6).

⁷ Ведь Лизавета идет здесь «в придачу» (ср.: 6; 313). Вот почему Раскольников о ней не думает: «О, как я ненавижу теперь старушонку! <...> Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась!.. Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал» (6; 212). Это же следует и из сличения убийства одной и другой жертвы с описанным выше языческим обрядом.

обняла его и крепко-крепко сжала его руками <...> Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! — воскликнула она, как в испуге...» (6; 316).

И действительно: Раскольников настолько несчастен, что вообще еле держится на этом свете; ведь, убив себя, он вынужден шагнуть за его границы и, будучи на этом свете и на том⁸, испытать как здешние, так и нездешние мытарства. Наказание следует за преступлением как тень и заключается главным образом в разоблачении греховных чувств и опровержении соблазнительных, но лживых теорий, которые с дьявольской силой и коварством «тащили» героя на злодейство.

Не вдаваясь в обстоятельный анализ положения, в каком очутился теоретизирующий преступник, отметим лишь необходимое для нашей темы.

С тех пор как бесовские чары исчезают, реальность предстает перед Раскольниковым в чрезвычайно неприглядном виде. Прежние мысли и стремления разлетаются в прах. Герой оказывается жертвой собственного преступления. Вместо того чтобы сразу получить «весь капитал», он теряет и то, что имел, — в частности, ясную голову, чистое сердце и то многообразие возможностей, которое дарует жизнь любому человеку, не запятнанному пролитой кровью и страшной виной. Вместо разных «дел» в пользу бедных, или человечества, или даже в свою пользу у Раскольникова в первый момент (после того как он в старухиной квартире «накуролесил». — 6; 373), да иногда и позднее, остается только одно — «бежать»: «Мучительная, темная мысль поднималась в нем, — мысль, что он сумасшествует и что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает... „Боже мой! Надо бежать, бежать!“ — пробормотал он и бросился в переднюю» (6; 66). Далее: «А зачем Заметов заходил? Зачем приводил его Разумихин? — бормотал он в бессилии, садясь опять на диван. — Что ж это? Бред ли это все со мной продолжается или взаправду? Кажется, взаправду... А, вспомнил: бежать! скорее бежать, непременно, непременно бежать! <...> Найдут! Разумихин найдет. Лучше совсем бежать... далеко... в Америку, и наплевать на них! <...> Только бы с лестницы сойти! А ну как у них там сторожа стоят, полицейские!» (6; 99–100) и т. д. Вместо нужды (исполненной немалой гордыни) в величии, абсолютной свободе и власти у Раскольникова остается самая мелкая, низкая и, однако, самая неотложная потребность, какую испытывает любой вор и убийца, — прятать и прятаться, утаивать и таиться.

Многие мотивы романа передают сквозную тему постоянно испытываемых героем страданий — реального и воображаемого преследования,

⁸ Подробно об этом см.: *Ветловская В. Е.* Анализ эпического произведения. Логика положений («Тот свет» в «Преступлении и наказании») // *Достоевский. Материалы и исследования.* СПб., 1997. Т. 14. С. 117–129.

оставленных следов и улик, возможного разоблачения. Напряженное ожидание такого разоблачения вместе с чувством вины и ответственности за содеянное, в которых герой и себе не хотел бы признаться, рисуют его расстроенному сознанию в каждом неизвестном ему посетителе, на месте любой неожиданности, везде и всюду, грозного врага (свидетеля и обвинителя). Ср., например, появление дворника и Настасьи на другое утро после убийства: «„Что им надо? Зачем дворник? Все известно. Сопrotивляться или отворить? Пропадай...“ Он привстал, нагнулся вперед и снял крюк» (6; 73); появление артельщика, когда Раскольников только-только очнулся от беспамятства и бреда: «У постели его стояла Настасья и еще один человек, очень любопытно его разглядывавший и совершенно ему незнакомый. Это был молодой парень в кафтане, с бородкой, и с виду походил на артельщика <...> Раскольников приподнялся. — Это кто, Настасья? — спросил он, указывая на парня» (6; 92); появление Лужина (особенно важное для нашей темы): «...вошедший господин мало-помалу стал возбуждать в нем все больше и больше внимания, потом недоумения, потом недоверчивости и даже как будто боязни. Когда же Зосимов, указав на него, проговорил: вот Раскольников, он вдруг, быстро приподнявшись, точно привскочив, сел на постели и почти вызывающим, но прерывистым и слабым голосом произнес:

— Да! Я Раскольников! Что вам надо?

— Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уже вам безызвестно.

Но Раскольников, ожидавший чего-то совсем другого, тупо и задумчиво посмотрел на него и ничего не ответил, как будто имя Петра Петровича слышал он решительно в первый раз» (6; 112; ср. также: 6; 150 и др.).

В плане земного бытия героя его тревожные ожидания и страхи оказываются пустыми (никто Раскольникова не уличает, не забирает, не отправляет куда следует), но в плане «загробного» его существования они очень даже обоснованны. Так, приход дворника и Настасьи означает вызов убийцы на путь мытарств; артельщик с его книгой и расписками напоминает о заключенном с нечистью договоре, сначала узаконившем преступление, а теперь взыскивающим за него⁹. Лужин, которого Раскольников в конце концов отправил к черту («Убирайтесь к черту!» — 6; 119) и которого именно черт к нему и «принес», тоже не случайно вызывает у героя вслед за страхом избыток ненависти и злобы, озадачивших ничего не понимающего Разумихина. Ведь Лужин, на свою беду, успел-таки «прицепиться» (6; 116) к интересующему всех в этой сцене «общему делу», связанному с убийством старухи процентщицы. Ср. разговор Зосимова и Разумихина после того, как Раскольников выгнал Лужина, а затем и их самих: «Знаешь, у него что-то есть на уме! Что-то неподвижное, тяготящее <...>

⁹ Об этом см.: Там же. С. 124–125, 121.

— Да вот этот господин, может быть, Петр-то Петрович! По разговору видно, что он женится на его сестре и что Родя об этом перед самой болезнью письмо получил...

— Да; черт его принес теперь <...> А заметил ты, что он ко всему равнодушен, на все отмалчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит: это убийство...

— Да, да! — подхватил Разумихин, — очень заметил! Интересуется, пугается...» (6; 119–120).

Лужин (точнее, письмо матери о его сватовстве и намечающейся свадьбе, в строках и между строк которого Раскольников разглядел неблагоприятную роль, какую его новый знакомец и возможный будущий родственник собрался играть в судьбе Дуни) несомненно имеет отношение к убийству (см.: 6; 35, 38–39). Но бесцеремонно выгоняя Лужина, Раскольников выходит из себя не только из-за письма и, пожалуй, не столько из-за письма (ср. глубокое безразличие, выказанное героем при имени и фамилии явившегося к нему господина). Есть одна сторона, обозначившаяся при первой же встрече «жениха» с братом невесты, неведомая Разумихину и Зосимову, но болезненно задевшая убийцу. Она касается идеологической подоплеки его преступления и говорит о тех мытарствах героя, которые вызваны компрометацией, опровержением его губительных теорий.

В сцене знакомства с Лужиным речь заходит о заблуждениях помраченного ума. Некоторое теоретическое единомыслие враждебных друг другу героев при всем их очевидном несходстве приоткрывается в реплике Раскольникова в ответ на декламацию Лужина, осуждающего с нравственных позиций преступников из высшего класса и «распущенность цивилизованной части нашего общества»:

«— Да об чем вы хлопчете? — неожиданно вмешался Раскольников. — По вашей же вышло теории!

— Как так по моей теории?

— А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...

— Помилуйте! — вскричал Лужин.

— Нет, это не так! — отозвался Зосимов. Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхней губой и трудно дышал.

— На все есть мера, — высокомерно продолжал Лужин, — экономическая идея еще не есть приглашение к убийству...» (6; 118).

В данном случае «мера» — понятие относительное. То, что Лужину или Зосимову кажется мыслимым или даже немыслимым пределом, для таких, как Раскольников, предела не составляет. И не потому, что они менее нравственны, а потому, что они более последовательны и логичны. Ведь тупое высокомерие Лужина только на том и держится, что в отличие от Раскольникова он не способен сделать ближайшего же шага в развитии подхваченной им чужой идеи. Но Раскольников знает, о чем говорит. В рассуждениях Лужина (и тех, кого он повторяет) герой должен

был узнать свою (и не свою, то есть тоже подхваченную и усвоенную) арифметическую теорию, которая вдруг предстала перед ним в неожиданном и неприятном повороте.

Разумеется, Раскольникову не нужно было ждать Лужина, чтобы услышать от него то, что всем известно; ср. реплики самого Раскольникова («Затвердил! Рекомендуются...» — 6; 115) и Разумихина («Общее место!») и др. — 6; 116). Однако лишь теперь, после убийства и в его особенном состоянии, у героя начали раскрываться смеженные тяжелым сном глаза и он вольно и невольно стал замечать не только *pro*, но и *contra*, относящиеся к его «делу», тогда как раньше он видел и слышал исключительно то, что хотел (то есть только то, что «разрешало» преступление).

Итак, согласно арифметической теории Раскольникова или случайно подслушанного им студента, позволительно убить и ограбить одного для благополучия многих, для избавления их от нищеты, венерических больниц, голодной смерти и т. д. «Экономическая идея» Лужина — та же «арифметика», но с другого конца. Ср.: «Если мне, например, до сих пор говорили: „возлюби“, и я возлюблял, то что из того выходило? <...> выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы <...> Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью, а казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться...» (6; 116).

Согласно этой «простой» мысли, получается, что если возлюбить одного себя и, вопреки евангельской заповеди, не делаясь ни с кем ни верхней, ни нижней одеждой¹⁰, остаться с целым кафтаном, то от этого выгадают и другие, выгадают все, так как человек в целом кафтане означает исключение по крайней мере одного из числа раздетых, голодных и обездоленных (то есть все нищие минус один; еще кафтан — и еще один утешительный минус). Чем больше в обществе будет обеспеченных людей, тем меньше в нем нищих. Вопрос, который Лужин не ставит,

¹⁰ Ср.: «...и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Мф. 5: 40); «...отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад» (Лк. 6: 29–30).

заключается в том, за счет чего или кого появится эта обеспеченность. Ведь если любовь к ближнему, как ясно из рассуждений Лужина, пред-
рассудок, то, спрашивается, откуда возьмутся нравственные основания (о которых бормочет поборник «экономической правды»: «Но, однако же, нравственность? И, так сказать, правила...» — 6; 118), для того чтобы, добывая себе целый кафтан или добываясь любой иной выгоды, человек удержался и не раздел как-нибудь другого (ср. в дальнейшем поведение Лужина с Раскольниковым, Соней, Катериной Ивановной, Лебезятниковым). А если уж очень понадобится или если тот, другой начнут топорщиться и сопротивляться, то почему бы при удобном случае и ради той же цели (того же кафтана или любой иной выгоды) не расправиться с ним самим? И выходит, Раскольников прав: «людей можно резать». Это во-первых.

Во-вторых: поскольку «арифметика» Лужина справедлива, то есть чем больше в обществе обеспеченных, тем меньше нищих, то для того, чтобы прийти к тому же результату (увеличению числа обеспеченных, сокращению числа голодных и обездоленных), можно, отбросив «восторженность» и «мечтательность» (все предрассудки), этих нищих тоже «резать» — за то собственно, что они нищие. Ибо кому нужна такая обуза? Ведь, как говорит Мармеладов, цитируя воспитанника Лужина господина Лебезятникова, «следящего за новыми мыслями», «сострадание в наше время даже наукой воспрещено и <...> так уже делается в Англии, где политическая экономия» (6; 14).

«Экономическая правда» Лужина, вся его «проповедь» побуждают взглянуть на арифметическую теорию и ее «справедливость» (напомним: «Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах, будь это все, что решено в этот месяц, ясно как день, справедливо как арифметика...» — 6; 50) с одного и другого конца. Проблема выглядит или так: для благополучия общества (для «общего дела») нужно избавиться от обеспеченных (в пользу нищих), или так: для того же благополучия и «общего дела» нужно избавиться от нищих (в пользу обеспеченных). Вывод из сопоставления очевиден: все зависит от личного взгляда и расположения, а «арифметика» одинаково бесстрастно предложит теорию, позволяющую «резать» либо обеспеченных (как у Раскольникова), либо нищих (как у Лужина), либо, если отбросить «арифметику», тех и других, всех подряд, поскольку для этого в принципе достаточно возлюбить прежде всех одного себя. Ср. далее признания Раскольникова: «Нет, те люди не так сделаны; настоящий *властелин* (имеется в виду Наполеон. — *В.В.*), кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, *забывает* армию в Египте, *тратит* полмиллиона людей в московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, — а стало быть, и *все* разрешается» (6; 211). И еще: «О, как я понимаю „пророка“, с саблей, на коне. Велит Аллах, и повинуйся „дрожащая“ тварь! Прав, прав „пророк“, когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого

и виноватого, не удостоивая даже и объясниться! Повинуйся, дрожащая тварь, и — *не желай*, потому — не твое это дело!.. О, ни за что, ни за что не прошу старушонке!» (6; 212).

Если «властелин» и «пророк» «правы» (а в этом Раскольников не сомневается, во всяком случае — временами), то Лужин, эта бездарная и надутая посредственность (тоже, однако, желающая властвовать, хотя бы над собственной женой — нищей, а следовательно, и «дрожащей тварью») и даже приговоренная к смерти и убитая «глупая, бессмысленная, ничтожная, злая» процентщица, которая без всяких теорий, при полном спокойствии совести заедала чужую жизнь и, не брезгуя никем (с рублевым залогом или пяти тысячами), высасывала из других «живые соки» (6; 53, 322), оказываются гораздо ближе к идеалу («пророку», Наполеону), чем Раскольников. Это ли не капитальная ошибка в теории (не говорим уже о том, что любое, хотя бы и отдаленное родство с подлецом Лужиным и ненавистной старушонкой герою в высшей степени оскорбительно)?

В глазах циничного, но, безусловно, умного Свидригайлова этот простенький арифметический расчет (или просчет), на котором споткнулся Раскольников, вообще не заслуживает серьезного обсуждения: «Тут <...> своего рода теория, то же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Единственное зло и сто добрых дел! Оно тоже, конечно, обидно для молодого человека с достоинствами и с самолюбием непомерным знать, что были бы, например, всего только три тысячи, и вся карьера, все будущее в его жизненной цели формируется иначе, а между тем нет этих трех тысяч» и т. д. (6; 378). Свидригайлов на основании собственного опыта убежден (и в этом же, если не сейчас, то в дальнейшем, предстоит убедиться Раскольникову), что никакая сотня «добрых дел» не может уничтожить и загладить «единичное злодейство». Отсюда его насмешка: «Авдотья Романовна, успокойтесь! Знайте, что у него есть друзья. Мы его спасем, выручим <...> А насчет того, что он убил, то он еще наделает много добрых дел, так что все это загладится; успокойтесь» (6; 379). Но, с одной стороны, Раскольников, идя на убийство, тоже думал, что «доброе дело» делает, а с другой — никакие «добрые дела», сколько бы их там ни было, не могут вернуть к жизни ни несчастной девочки-самоубийцы, оскорбленной и нагло поруганной, «в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер...» (6; 391), ни старушонки с «бедной Лизаветой».

Если учесть сознание допущенной в теории ошибки, а вместе с тем непоправимость сделанного зла и тяжесть его последствий, то понятна вся глубина переживаемых героем страданий. Ср. его размышления: «Старушонка вздор! <...> старуха, пожалуй что, и ошибка. <...> Да, я действительно вошь <...> и уж потому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь; потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для

своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду велико-лепную и приятную цель (благо ближних, благо всего человечества. — В.В.), — ха-ха! Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру, и арифметику: из всех вещей выбрал самую наименее полезную и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше ни меньше <...> Потому, потому я окончательно вошь, — прибавил он, скрежеща зубами, — потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее *предчувствовал*, что скажу себе это уже *после* того, как убью! Да разве с таким ужасом что-нибудь может сравниться! О, пошлость! О, подлость! <...> О, ни за что, ни за что не прощу старушонке!» (6; 211–212). На самом деле Раскольников не может, конечно, простить себе.

Разверзающаяся под ногами пропасть, в которую проваливаются казавшиеся неизбежными теории, увлекая за собой героя, и мука, им испытываемая, свидетельствуют о том, что черт не зря «принес» в свое время Лужина. Впрочем, и до этого Раскольникову было несладко. Разговор Разумихина и Зосимова об убийстве процентщицы и ее сестры, прерванный появлением Лужина, успел произвести надлежащее действие: «Сам Раскольников все время лежал молча, навзничь. <...> Лицо его, отвернувшееся теперь от любопытного цветка на обоях, было чрезвычайно бледно и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки» (6; 112). Вот почему разглагольствования Лужина на тему «арифметики» для Раскольникова означают переход из огня в пламя, из пытки в пытку.

На этом можно поставить точку. Доводы *ad rem* (из существа дела), которые предложены читателю в сцене знакомства с Лужиным, являются важнейшими среди аргументов Достоевского, направленных против арифметической теории его героя.